

Сергей Юрьевич Юрский. Фигура бесспорная, даже для сегодняшнего дня, когда спорно, казалось бы, все. Подлинный, завоеванный годами, годами же проверенный авторитет. Человек, которого считают своим сразу обе столицы. Чем же он интересен сегодня? Блестящими ли ролями, принадлежностями, как Юрский полагает, далекому прошлому? Книгой ли «В безвременье», вышедшей более полугода назад и не замеченной ни прессой, ни критикой? Фильмом ли «Чернов», снятым им по повести из своей же книги, прокатная судьба которого — под большущим вопросом? А может быть, именно тем, что Юрский оказался в точке пересечения, и не только географической — «где-то между Ленинградом и Москвой», но и целого ряда искусства, литературы — иными словами, в эпицентре нашей несчастной, «трехкопеечной» культуры.

С этой весны мы переживаем вторую волну новой жизни. Она началась, как только закончились все съезды, в том числе — и партийные. До этого — был первый крик. Голоса прибавлялись, сливались. Тех, кто кричал от восторга, с теми, кто вопил от боли, с предсмертными криками. А со стороны казалось, что поет стройный хор, славя перестройку. И это был взгляд объективный. Это была правда — правда первой волны.

Каковы же приметы второй? Мы летим на гребне волны и можем оказаться далеко от того места, где она нас подхватила, — далеко впереди. Наше состояние после первой волны могло вызвать лишь насмешку: она нас подняла так высоко, нам открылись такие дали. А когда опустела, мы оказались там же, где и были. Я не говорю об экономике, не анализирую невероятные сдвиги в высвобождении слова, не касаюсь политических перемен в окружающих странах, — я говорю о психологии, о душе. Вылетела ли она, подобно птице, когда открылась клетка? автор

Разве это смешно? Это страшно. Именно смешно — мы-то ведь думали, что летим. Некоторые и сейчас приговаривают, что летят.

Последние пять лет открыли, что наша жизнь — не едина. Не едины народ и партия, классы, город и деревня. Причем ощущение такое, что взаимопонимание уменьшается, а различия — усиливаются. Мне раньше казалось — и я очень хорошо себя чувствовал, — что правда — одна, народ — один, просто хорошие люди должны донести ее до него.

Сегодня вместо всех прежних лозунгов у нас царствует один — слово «Запад». То, что «да» — сомнений не вызывает, спорят лишь, каким образом. Раньше говорили: там — технология, зато у нас — духовность; там — дизайн, у нас — искусство; там — исполнение, у нас — идеи. И вдруг оказалось, что там есть все, и все — лучше, чем у нас. Стали писать, что у нас вообще ничего нет.

У нормального человека это не может не вызвать неосознанного протеста. Даже более того — противодействия. «Ах так!» — На такой волне, знаете, может ведь и война начаться. Другое чувство — не может быть, чтобы настолько. На Рождество этой зимой мы пели коляду:

«Ура! Мы задыхались от свободы, в стране открылись выходы и входы. Но около дверей такая давка, что, кажется, закрыты придется лавку». О выходах — не будем, сейчас стало общим местом писать о проблемах эмиграции, интервьюировать в этих жутких километровых очередях. Поговорим о входах. У нас в газете недавно выступил эмигрировавший в свое время режиссер Эфраим Севела. Он только что закончил свою вторую «советскую» картину, хочет купить квартиру в Москве, если появится такая возможность.

А у меня лежит сценарий Михаила Калика. Но это писатели, это художники! А сколько бывших скромных инженеров приезжают из разных стран и теперь уже с легким иностранным акцентом диктуют условия, отбирают лучшее, определяют вкус, заключают договоры — и теснят, теснят местных бедолаг, которые не решились вовремя эмигрировать. В принципе, это здоровая конкуренция. Но

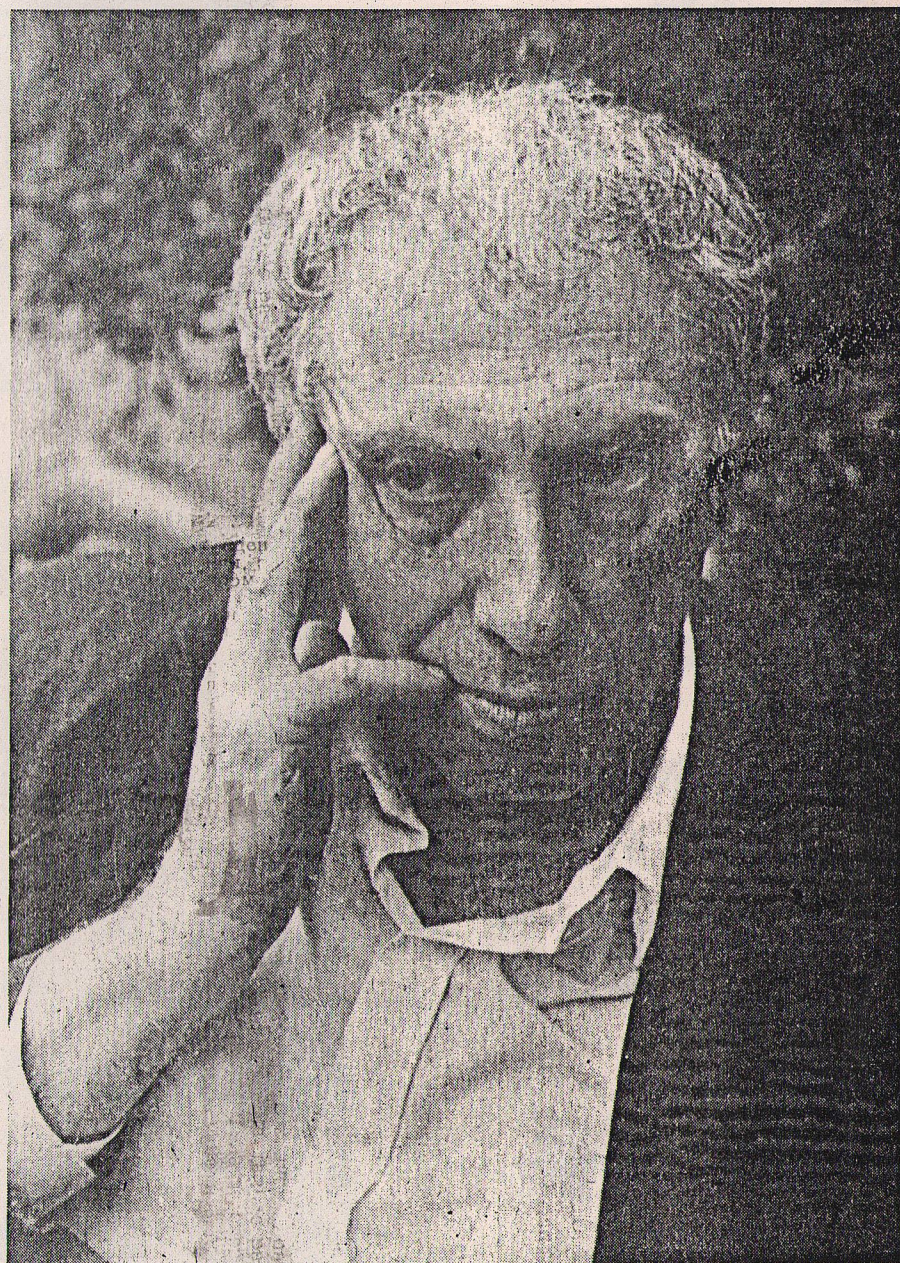
дважды подряд раскрываем объятия. Справедливо ли это? Наверное. И вот в черную дыру нашей экономики, в наш духовный мир, никогда не являвшийся черной дырой, но объявленный таковой нами самими, хлынул поток и готовых произведений, и всевозможных инициатив, художественно-коммерческих, а чаще — наоборот, которые, как мне кажется,

то, что он снизошел, а — что его облагодетельствовали.

Но ведь действительно «тамошний» успех зачастую программирует «тутошний».

Старая истина: бытие определяет сознание. В Шереметьеве-2 скромный француз меняет франки на рубли. Свой

# КОНТРАПУНКТ



Сергей ЮРСКИЙ: «Я никогда не боялся зрителей. Я боялся тех, кто говорит от имени зрителя»

скоро, боюсь, она может стать силовой. Говорят: конкуренция — хорошее дело. Не знаю, не жил. Погляди. Но уже наверняка плохо то, что мы привыкаем получать истину от дяди эмигранта. Истинной становятся мнения чужих людей, причем далеко не всегда компетентных. Раньше было как? Все, что с Запада — подозрительно, эмигранты — опасны. Сегодня все, что «оттуда», — хорошо,

лишили массы возможности собственной оценки.

И собственного мнения. Второй аспект проблемы — успех можно заслужить только на Западе. Гастроли «там», становятся козырной картой. Театр выезжает в маленький городок, где нет своей драматической труппы, где нет привычки к театру как к искусству, — и все равно, чувствует не

часовой заработок на месячный советский! Как же ему после этого нас уважать? И во всех совместных предприятиях мы пока — на положении попрошайек. Вот говорят: идет строительство общеевропейского дома, слияние культур. Но я привык верить своим глазам. Идущие процессы построены на несоответствии валют, законов, не более. «Момент счастливый — вода мутная».

«Разыгралась чтой-то выюга, ой, выюга, ой, выюга! Не видать совсем друг друга За четыре за шара!»

Совсем друг друга видеть перестали. В Цинциннати видим все в подробностях, у себя, извините, ни фига.

А как же, если уж цитировать, «лицом к лицу лица не увидать»?

Вопрос в размерах. И — в чувстве меры. Воистину, нет пророка в своем отечестве. Спрашивают: «Читал «Артиста миманса»? Читал, отвечаю, лет двадцать назад. Вещь-то была опубликована, сыграла свою роль. «Нет», — говорят, — ты сегодня — читал, когда она пришла оттуда?». То же самое — с «Матрениным двором».

Вот такие чувства возникают на второй волне перестройки. Человек разбежался — а там грязь. И где толкался — тоже. Пролетел всего лишь сантиметр — и в эту грязь шлепнулся. Вроде бы смешно...

Если бы это не были мы сами.

Сергей Юрьевич, когда мне подарили вашу книгу «В безвременье», первая реакция была: это что-то вроде актерской живописи, инженерской музыки, непрофессионального театра, — короче, хобби. И вдруг — настоящая литература. А как я смеялась, перечитывая сцену репетиции в вагоне идущего поезда (повесть «Чернов», — Ю. Р.) Вот хотя бы это:

«Мадам! — крикнул господин Арнольд. — А может быть, все-таки сыграем Шумана?»

Дама, не отрывая глаз от текущего за окном пейзажа, сложила изящные пальцы и показала ему фигу.

«Видимо, русская», — подумал господин Пьер Ч.»

Я очень рад это слышать. Отклик читателей был в почти мгновенной покупке 100-тысячного тиража. Профессиональной критике не до нас. Я не жалею, не хнычу, но привкус горечи есть.

А что сегодня с вашим фильмом? Я закончил «Чернова» полгода назад. И все это время ничем не занимался — не снимался, не писал, только проталкивал свой фильм. Результаты — нулевые. Режиссер не должен этим заниматься, если, конечно, он не гениальный продюсер.

Мы съездили с фильмом в Карловы Вары. Отношение ко всему советскому было на этом фестивале не просто плохим — каким-то даже мстительным. Мстили за то, что вынуждены были раньше давать призы откровенно плохим, но советским

фильмам. За то, что мы — «люди с танками». Мне — так прямо довелось услышать: «Приехали, и не стыдно». А насчет моего фильма... «Мосфильм» показал чехам 17 картин. Семнадцатым был показан «Чернов». Его и взяли.

Фильм получил значительный приз — за лучшую мужскую роль. Не парадокс ли это? Андрей Смирнов, режиссер, драматург, во время съемок — секретарь Союза кинематографистов — в общем, непрофессиональный актер — выиграл чисто актерский приз у профессионалов высококласс!

В кино, в отличие от театра, а в современном кино — особенно, выигрывает не умение, а максимальное соответствие внешних и прежде всего внутренних данных материалу. А кроме того, Андрей Сергеевич оказался великолепным профессионалом.

Повесть «Чернов» была написана в 70-е годы, когда проблемы героя, постоянное чувство вины, неосознанного страха были нашей жизнью. Почему же проблемы теперь уже кинематографического Чернова волнуют сегодня?

Очень бы не хотелось употреблять иностранные слова, но трудно найти замену выражению «экзистенциальное состояние». Сильное одиночество человека среди людей, существование между небом и землей, когда земля непрочна, а небо — далеко. Я думаю, немало людей знают это состояние. И от очень важных происшедших перемен многое может перемолотиться, но медленнее всего — это особое состояние души, трудное, тяжелое, составная часть жизни некоторых из нас. Я думаю, тип Чернова не есть принадлежность только 70-х годов, а гораздо более длительного времени. А может быть — и вечный.

Так как это первый мой фильм на большом экране, мне было важно не только выразить содержание, но и найти свой киноязык. Прежде всего это выбор исполнителей, смесь профессиональных актеров и типажей. Во-вторых — ритм фильма, его монтаж. В-третьих — чередование насмешливых и лирических кусков.

Ну и, конечно, сосуществование двух сюжетных линий. Реальной и воображаемой. Причем не всегда можно отличить одну от другой.

Этого я и хотел. Очень хрупка эта граница. Еще Гамлет говорил, какое удивительное явление — человеческий мозг. Внутри человека живет весь мир, такой же громадный, как и вне его. И безумно волнует загадка: что внутри чего.

Сергей Юрьевич, но, коли фильму дали приз, выходит, тем его поняли?

Не думаю. По-моему, нет.

А у нас? Ведь, хоть он и не вышел, вы его показываете?

У нас пока это не совсем обычные аудитории. Это люди, знакомые со мной — лично или по творчеству — лет тридцать. Или их дети. Таких людей по Союзу, я думаю, не меньше 9 миллионов.

Выходит, за судьбу «Чернова» можно не волноваться?

Я так и написал дирекции студии. Я просил только об одном: проинформировать этих людей.

Когда-то А. В. Эфрос сказал, что кино — это искусство для девушек от 14 до 17. Это мысль едкая и почти — правдивая. Но — почти. Анатолий Васильевич, конечно же, шутил. Во-первых, есть и другие зрители. А во-вторых, и среди девушек от 14 до 17 попадаются такие умницы.

И часто попадают?

Это — возраст моей дочери и ее одноклассниц.

Я никогда не боялся зрителей. 35 лет на сцене, 30 — в кино. Я боялся тех, кто говорит от имени зрителя. Тех, кто говорит: у нас народ простой, ему бы что-нибудь попроще. На моих концертах, спектаклях я убеждался, что народ не такой уж простой — он-то все понимает. Вот с теми, кто, выступая от имени кинозрителя и смело манипулируя модным

словом «коммерция», определяет, сколько копий покупать, и покупать ли вообще, показывать или нет — с этими людьми, боюсь, может так случиться, и не договоримся.

А вы не боитесь, что «Чернов» в конце концов может стать участником такого абсурдного, на мой взгляд, мероприятия, как фестиваль некупленных фильмов?

Своими руками я его туда не отдам: я верю в его прокатную судьбу. Но и заниматься им больше не буду — поищу другого продюсера.

Кроме Юрского, вашими режиссерами в кино, наверное, можно назвать Швейцера, Полоку. Но и у Полоки в «Интервенции», и у Швейцера в «Маленьких трагедиях» вы играете роли вне фильма.

Швейцера называет это «спектаклем для себя». Это было очень интересно, но я благодарен Меньшову за то, что он вернул меня в лоно нормального фильма. Ведь, как ни относиться к фильму «Любовь и голуби», а это — настоящая комедия, на которой люди смеются до слез. К тому же — кассовая, что тоже немаловажно.

Если говорить о кассовости, то в этом смысле благополучно все, что вы делаете в театре. А если о точности попадания... Давно хочу спросить: для чего вы поставили в свое время такой спектакль, как «Орнифль, или Сквозной ветерок»?

«Орнифль» — это мое нынешнее самоощущение. Смысл этой вещи — необходимость поэта в торговом обществе. Это тот редкий случай, когда чем дольше спектакль идет — тем луннее его принимают.

Видимо, мы только сегодня «дозреваем» до его понимания. Чего не скажешь о других спектаклях — например, о «Последнем посетителе».

Да, этот спектакль на закате, но я люблю его. Для меня это тот стиль психологического театра, который почти исчез.

Зритель видит в этом спектакле лишь сотую копию «Премии» Гельмана — отличной, кстати, для своего времени пьесы. А вот я увидела в «Последнем посетителе» другое — обвинение системе, которая в силу своей нищеты и неповоротливости делает из прекрасного специалиста и хорошего администратора подполков. Неужели несомненно?

Кстати, о системе. Недавно «Литература» опубликовала фотографию группы актеров БДТ и А. И. Солженицын в вашей артистической уборной. Наверное, факт посещения вас тогда уже опытным зрителем не остался без внимания кого надо?

Настолько не остался, что фотографию пришлось запрятать подальше. В результате она потерялась. И вдруг — эта публикация.

Не это ли послужило причиной ваших несложившихся отношений с ленинградским руководством, как и последующего переезда в Москву?

Романов был постоянным фоном всей моей ленинградской жизни. Но все это такое далекое прошлое!

Ленинград... Я — оттуда, и ничего не забыл.

И ленинградцы вас помнят, что еще раз подтвердила недавняя передача Ленинградского телевидения. Кстати, как вам удается собирать полные залы на такой непопулярный вид искусства, как чтецкие программы?

А просто я стал гораздо реже выступать. Гораздо. Действительно, в Ленинграде было полно. А вообще-то — это теперь дело сложное, тонкое, хитрое... Хоть бросай... Вот раньше, когда я приезжал, скажем, в город Ижевск из города Сарапула. Афишка — от руки. И — полный зал. Как узнавали? По цепочке. Она и сейчас существует. Помните — 9 миллионов? Те, конечно, кто не уехал...

Беседовала Юлия РАХАЕВА.

Александр ТАЛКИН